

Гусев — эпизод 3 из 5

Душно, нет сил дышать, пить хочется, а вода теплая, противная... Качка не унимается.

Вдруг с солдатом-картежником делается что-то странное... Он называет черви бубнами, путается в счете и роняет карты, потом испуганно и глупо улыбается и обводит всех глазами.

Я сейчас, братцы... говорит он и ложится на пол.

Все в недоумении. Его окликают, он не отзывается.

Степан, может, тебе нехорошо? а? спрашивает другой солдат с повязкой на руке. Может, попа призвать? а?

Ты, Степан, воды выпей... говорит матрос. На, братишка, пей.

Ну, что ты его по зубам кружкой колотишь? сердится Гусев. Нешто не видишь, голова садовая?

Что?

Что! передразнивает Гусев. В нем дыхания нет, помер! Вот тебе и что! Экий народ неразумный, господи ты боже мой!..

Качки нет, и Павел Иванович повеселел. Он уже не сердится. Выражение лица у него хвастливое, задорное и насмешливое. Он как будто хочет сказать: Да, сейчас я скажу вам такую штуку, что вы все от смеха животы себе порвете.

Круглое окошечко открыто, и на Павла Ивановича дует мягкий ветерок.

Слышны голоса, шлепанье весел о воду... Под самым окошечком кто-то завывает тоненьким, противным голоском: должно быть, китаец поет.

Да, вот мы и на рейде, говорит Павел Иванович, насмешливо улыбаясь. Еще какой-нибудь один месяц, и мы в России. Нда-с, многоуважаемые господа солдафоны. Приеду в Одессу, а оттуда прямо в Харьков. В Харькове у меня литератор приятель. Приду к нему и скажу: ну, брат, оставь на время свои гнусные сюжеты насчет бабьих амуров и красот природы и обличай двуногую мразь... Вот тебе темы...

Минуту он думает о чем-то, потом говорит:

Гусев, а ты знаешь, как я надул их?

Кого, Павел Иванович?

Да этих самых... Понимаешь ли, тут на пароходе существуют только первый и третий классы, причем в третьем классе допускается ехать одним только мужикам, то есть хамам. Если же ты в пиджаке и хоть издали похож на барина или на буржуа, то изволь ехать в первом классе. Хоть тресни, а выкладывай пятьсот рублей. К чему, спрашиваю, завели вы такой порядок? Уж не хотите ли поднять этим престиж российской интеллигенции? Нисколько. Не пускаем

вас просто потому, что в третьем классе нельзя ехать порядочному человеку: уж очень там скверно и безобразно. Да-с? Благодарю, что так заботитесь о порядочных людях. Но во всяком случае, скверно там или хорошо, а пятисот рублей у меня нет. Казны я не грабил, инородцев не эксплуатировал, контрабандой не занимался, никого не заперол до смерти, а потому судите: имею ли я право восседать в первом классе, а тем паче причислять себя к российской интеллигенции? Но их логикой не проймешь... Пришлось прибегнуть к надувательству. Надел я чуйку и большие сапоги, соорудил пьяную хамскую рожу и иду к агенту: Давай, говорю, ваше высокоблагородие, билетик...

А вы сами какого звания? спрашивает матрос.

Духовного. Мой отец был честный поп. Всегда говорил великим мира сего правду в глаза и за это много страдал.

Павел Иваныч утомился говорить и задыхается, но все-таки продолжает:

Да, я всегда говорю в лицо правду... Я никого и ничего не боюсь. В этом отношении между мной и вами разница громадная. Вы люди темные, слепые, забитые, ничего вы не видите, а что видите, того не понимаете... Вам говорят, что ветер с цепи срывается, что вы скоты, печенег, вы и верите; по шее вас бьют, вы ручку целуете; ограбит вас какое-нибудь животное в енотовой шубе и потом швырнет вам пятиалтынный на чай, а вы: Пожалуйста, барин, ручку. Парии вы, жалкие люди... Я же другое дело. Я живу сознательно, я всё вижу, как видит орел или ястреб, когда летает над землей, и всё понимаю. Я воплощенный протест. Вижу произвол протестую, вижу ханжу и лицемера протестую, вижу торжествующую свинью протестую. И я непобедим, никакая испанская инквизиция не может заставить меня замолчать. Да... Отрежь мне язык буду протестовать мимикой, замуравь меня в погреб буду кричать оттуда так, что за версту будет слышно, или уморю себя голодом, чтоб на их черной совести одним пудом было больше, убей меня буду являться тенью. Все знакомые говорят мне: Невыносимейший вы человек, Павел Иваныч! Горжусь такой репутацией. Прослужил на Дальнем Востоке три года, а оставил после себя память на сто лет: со всеми разругался. Приятели пишут из России: Не приезжай. А я вот возьму, да на зло и приеду... Да... Вот это жизнь, я понимаю. Это можно назвать жизнью.

Гусев не слушает и смотрит в окошечко. На прозрачной, нежно-бирюзовой воде, вся залитая ослепительным, горячим солнцем, качается лодка. В ней стоят голые китайцы, протягивают вверх клетки с канарейками и кричат: Поет! Поет!

О лодку стукнулась другая лодка, пробежал паровой катер. А вот еще лодка: сидит в ней толстый китаец и ест палочками рис. Лениво колышется вода, лениво несутся над нею белые чайки.

Вот этого жирного по шее бы смазать... думает Гусев, глядя на толстого китайца и зевая.

Он дремлет, и кажется ему, что вся природа находится в дремоте. Время бежит быстро. Незаметно проходит день, незаметно наступают потемки... Пароход не стоит уж на месте, а идет куда-то дальше.